

Александр Колбовский

ПАЛАТА № 19

* * *

Четырехместная палата хирургического отделения — энциклопедия русской жизни. То есть, конечно, за четыре дня она не успевает накопить большой массив энциклопедической информации, но вот, думаю, месяц там полежать — и никакой социологии не надо. Выписывают из хирургии быстро, при плановых операциях больше трех-четырёх дней не держат, так что количество больных, проходящих через обычную палату обычной больницы за месяц, — человек сорок. А если еще прибавить родственников, друзей, возлюбленных — посетителей... А если еще прибавить сиделок — в моем случае всего за четыре дня их у нас было двое... А если еще прибавить медицинских работников... Больница, как вокзал, — располагает к откровенности.

* * *

Про отца Серафима мне сразу сказали: «Вон там, в углу — православный батюшка. Очень хороший». Когда я в первый день попал в палату, он лежал такой весь несчастный, перевязанный, прошитый-перешитый и обездвиженный, под капельницами. Сосед обращался к нему по имени — Евгений. Пару дней я даже не понимал, как его называть. Может, услышался, и он все-таки не Евгений. Оказалось, да, Евгений. Но и отец Серафим. Приход в Нижегородской области, неподалеку от Дивеево, Сарова. Думаю, церковное имя у него как раз в честь Серафима Саровского. Но я, особенно поначалу, старался держаться отстраненно от всяких разговоров на духовные темы. И все-таки называл его Евгением.

В тот же первый вечер ему сняли швы, разрешили немножко поесть. И он ожил и постепенно, буквально в течение пары часов, превратился в отца Серафима. Расчесал специальной расческой с вмонтированным

зеркальцем длинные волосы и седеющую бороду, надел чистую рубашечку. Поел супчика.

У него была сложная операция: гнойный абсцесс на фоне панкреатита и сильнейшего диабета. Все время говорил, что теперь придется менять жизнь, поскольку после каждого приема пищи надо замерять уровень сахара в крови. Как следствие, жесточайшая диета — нельзя ничего мучного, сладкого, содержащего крахмал. Даже за эти четыре дня сахар у него «скакал» как бешеный в зависимости от того, что отец Серафим скушал в нашей больничной столовой.

Вообще, думаю, ему нелегко пришлось. Операция была очень тяжелая, разрез и шов большие. Но в уныние он не впадал и сохранял не просто оптимизм — какую-то завидную форму жизнелюбия и восторга от жизни. Всякой жизни, даже унылой, больничной.

Время от времени он уединялся со своим телефоном, часами что-то там смотрел и улыбался. Оказалось, любит всякие смешные видеоролики — танцующих кошечек, собачек.

У нас с ним наладились прогулки по длинному больничному коридору. И мне, и ему велено врачами ходить, чтобы быстрее наладилось внутреннее кровообращение. Мы и ходили. Как-то отец Серафим предложил измерить шагами длину коридора, я сказал, что у меня в телефоне есть шагомер, и мы усердно мерили количество шагов, потом умножали получившуюся цифру на длину шага.

В холле, у дежурного поста, был такой «общественный центр» нашей Первой хирургии. Что-то вроде красного уголка. Кроме диванов, неработающего телевизора, там еще стояли напольные весы и небольшой аквариум с рыбками. Вот этот аквариум отец Серафим полюбил нежно. Включил видеокамеру на своем телефоне и снял трехминутное видеонаблюдение за жизнью рыбок. Прямо фильм у него получился видовой — как будто и вправду погружаешься в воду, к рыбкам. Он довольно улыбался, по несколько раз пересматривая собственный фильм. Ну, и на весы мы с ним, конечно же, встали. Следом робко подошли две старушки, которым тоже хотелось взвеситься, но они то ли стеснялись, то ли не знали, на какую кнопку нажать, чтобы включить электронные весы. «Налетай, не ленись!» — громко и радостно объявил отец Серафим. Обслужил старушек и был очень доволен собой.

53 года ему. Мало что знаю о дочерковой жизни. Хотя он рассказывал о деревне, где вырос, о том, как пас колхозное стадо, как испугался однажды большого рогатого быка. Но о молодости, о том, как пришел

в церковь, не довелось поговорить. Знал цитаты из советских фильмов, помнил мультики нашего детства. Хотя современная литература, не говоря уж о кино, были ему чужды. Чего нельзя сказать о телевидении: как-то поздно вечером батюшка говорил по телефону со своей матушкой, а когда я спросил, не поздно ли, ответил, что она еще будет смотреть Соловьева.

Мы, кстати, как-то разговорились с ним о телевидении. Он вообще ни о чем меня не спрашивал, его совершенно не интересовало, где и кем я работаю, кто я по профессии. Но когда он процитировал какую-то гадкую телепрограмму, я сказал, что как раз такие передачи и разжигают злобу и ненависть. Как-то вдруг неожиданно для самого себя сформулировал, что именно ТВ сегодня больше всего обжигает и озлобляет человеческие сердца. Как ни странно, он со мной согласился.

Я не так много вообще в этой палате говорил о себе. Наверно, меньше всех остальных. Но как-то сказал, что был в Китае, и это почему-то невероятно заинтересовало отца Серафима. Спустя несколько часов он вдруг неожиданно попросил: «Расскажи о Китае». И стал подробно выспрашивать — про небоскребы, про то, почему Запретный город называется Запретным, про аптеки, дороги, велосипедистов — в общем, про всё-всё-всё.

Почти сразу выяснилось, что отец Серафим принадлежит к тому типу церковного люда, который можно назвать духовниками. В больничной палате он часами говорил по телефону, терпеливо выслушивал какие-то рассказы, возможно, даже исповеди своих прихожан. Он прекрасно разбирается в священных текстах и легко умеет применить их. На все случаи жизни приводит библейские примеры. Причем говорит языком абсолютно современным. Языком, на котором говорят герои сериалов, используя и просторечия, и поговорки, и крылатые цитаты из старого кино. Выяснилось это, когда уже в первый вечер, после того, как батюшка встал на ноги, к нему стали приходить гости. Для каждого он был духовным отцом. Прямо в палате тихонечко что-то ему рассказывали, он спокойно и уверенно их наставлял. Каждого, точнее, каждую (в основном-то приходили молодые женщины от тридцати до сорока) называл «солнышко». С первого вечера ему беспрестанно звонили все эти Ксении и Натальи, Ирины и Татьяны, и он часами щебетал со своими «солнышками», советуя, как поступить, как помолиться, что приготовить в праздничный день прощенного воскресенья. Собственно, все вечера в нашей палате прошли под убаюкивающий голос отца Серафима.

Все слова он уютно укладывал в своей речи, будто ласкал. Все, кто ему звонил и приходил, были «солнышки». Больница у него была «больнич-

ка». Понятное дело — маслице, кашка, сахарок, супчик, чаёк. Каким-то чужим до болезни словам он придавал свой смысл. Так, ему почему-то очень понравилось слово «стационар»: «Выпишусь из больнички, и потом уже буду жить на стационаре». Имея в виду, что будет приезжать из дома в больницу и советоваться с врачами.

Выписывались мы с отцом Серафимом в один день. Матушка Наталия явилась за ним раньше, чем приехали за мной. Сразу стало понятно, кто в доме главный. Когда отец Серафим попытался рассказать ей про будущую диету, про то, что ничего ему теперь нельзя, матушка ехидно посмеивалась, намекая на прошлое чревоугодие и тягу к питию.

Мне очень интересно, как он будет жить дальше. Сейчас он напуган, каждые четыре часа меряет уровень сахара в крови, находит в себе силы отказаться от всего вкусного, но не полезного. Вплоть до того, что всякий раз просил меня посмотреть в интернете, из чего, например, делают перловку, манку — диабетикам манка категорически противопоказана. Но пройдет месяц, другой, и предполагаю, что мой отец Серафим уже не будет отказывать себе в сахарке, маслице, да и водочка появится на столе.

Спустя неделю я приехал в больницу снимать швы. В двадцатиградусный мороз по дорожке больничного парка бодренько шел навстречу отец Серафим — ему тоже было назначено в этот день показаться врачу. Коротко поговорили, а на прощание он сказал: «То, что я тебя встретил, хороший знак».

Ну, наверно, и то, что я его встретил, тоже хороший знак.

* * *

Странное чувство испытывает человек, когда его везут на каталке в операционную. Особенно, когда везут головой вперед. Верх и низ, пол и потолок, право и лево, части света, представление об устройстве мира — все кружится, сливается, переворачивается. Прошлое отдаляется прямо-таки физически, а будущее — это только спина и попа сестры в голубом халате. Рассмотреть эту спину и эту попу можно, если сильно задрать голову кверху. Лицом она поворачивается, только когда каталка заезжает в лифт. Лифт вроде и не лифт, а коробка, куда тебя упаковывают. И двери, двери, бесконечные двери, открывающиеся внутрь, прямо в тебя, и впускающие всякий раз в какую-то новую реальность. Последняя дверь — в операционную. Картина мира полностью меняется.

Но самое интересное — потолок. Кажется, каталка стремительно несется по тоннелю — как в метро, только светлomu. И едет не по полу, а по потолку, куда по какой-то странной технологии вмонтированы светильники.

Наверно, есть какой-то метафизический смысл в том, что картина мира перед операцией опрокидывается и теряет пространственные, а потом, вместе с наркозом, и временные ориентиры.

* * *

Никак не мог предположить, что в операционной работает радио. Как-то в прежние времена, то ли не было его, то ли не обратил тогда внимания. А сейчас играло. Радио «Монте-Карло». В лежачем положении не очень легко отыскать источник звука. Обшарил взглядом зону, доступную глазу, и никакого радио не увидел. Скорее всего музыка шла из хирургического компьютера, который показывал все мои данные — пульс, давление. Комп подключен к интернету, вот кто-то и включил радио. Моя операция в этот день была первой, анестезиологи, реаниматологи, санитары — все только приходили на работу. Здоровались, по-моему, даже кофе пили где-то в соседних комнатах. Времени было достаточно, чтобы, лежа под тонкой простыней в холодной операционной, послушать музыку. И, собственно, последней песенкой, которую сыграло доброе «Монте-Карло», прежде чем я вырубился наркозным сном, было «Happy New Year» группы «АББА». Если не вслушиваться в английский текст, не самая, надо сказать, плохая колыбельная перед полостной операцией.

* * *

Соседа напротив привезли поздним вечером, почти ночью. Мы с отцом Серафимом только-только возрадовались, что сегодняшняя ночь пройдет спокойно, потому что остались в четырехместной палате вдвоем. Не тут-то было. Санитары привезли деда, который громко кричал, а когда его переключивали с каталки на кровать, громовым голосом напомнил все существующие в русском языке ругательства. Он был возбужден, испуган, растерян.

Уже потом, когда спустя пару часов пришла его дочка, мы узнали, что наш дед с командирским басом — полковник-десантник. С густыми бро-

вами, очень похож на Брежнева. В 88 лет живет один и отказывается переезжать к дочке и внукам. И вот — упал в собственном туалете, ударился об унитаз, сломал то ли три, то ли четыре ребра, а на него еще и свалился шкаф. Самое страшное: военные врачи почему-то не разглядели этих переломов, и спустя пару недель началось обострение, гемоторакс. К нам его привезли из реанимации, где, как я понял, ему откачали полтора литра крови из легких и, в общем, вытащили с того света. Но положение оставалось сложным, жидкость в легких быстро накапливалась, температура держалась высокая. И он был абсолютно беспомощен. Абсолютно! На следующее утро ему хотя бы стали надевать памперсы, а поначалу... В общем, это был ад. И для больного деда-полковника, и для нас, его соседей. И еще он не лежал молча — все время издавал какие-то звуки: стонал, ругался, кричал на всех, кто к нему подходил. Два слуховых аппарата — на каждое ухо, — но он все равно почти ничего не слышал, и всё, что ему говорили, приходилось повторять дважды или трижды. Временами казалось, он в бреду. На самом деле, ему просто было очень больно и, наверно, унижительно от беспомощности.

Деда привезли из реанимации без всего — без телефона, слухового аппарата. И конечно, он поначалу нервничал, что дочка не сможет его найти. Дочка пришла через пару часов вместе с его вещами. И оказалось, что она — классная. Маленького роста, бойкая, говорливая, симпатичная, похожая на артистку Лядову, только постарше Лядовой лет на десять. Врачам нашим говорила, что она — их коллега. Тоже хирург. Только стоматолог. У нее действительно было «хирургическое» отношение к боли, крови и всему кроваво-гнойно-грязному. Не боясь испачкаться, делала все сама. Сидела в нашей палате с утра до ночи, с короткими перерывами, когда она убегала, а потом приходила с сумками, полными памперсов (в отделении они заканчивались), еды, бутылочками компота и воды.

Но на ночь она остаться не могла. А вот как раз второй ночью наш дед едва не отдал концы. Что там точно случилось, не знаю, но где-то в полночь, когда мы только-только заснули, зажегся яркий свет, и все дежурные хирурги, сестры засуетились у его постели. И — до утра. В какой-то момент врач сунул ему в руку бумажку и заставил подписать согласие на переливание крови. Принесли пакеты с кровью — переливали прямо в палате. Делали какие-то уколы, ставили капельницы. Под утро дед, в отличие от нас, его соседей, заснул.

А потом, когда пришла дочь, стало понятно, что ему второй раз за несколько дней спасли жизнь.

Этот день был выходным, и с утра до вечера к деду приходили родственники — дочь с мальчиком-школьником, внуком, потом взрослый внук со своей девушкой. Тоже врач. Интересно со стороны наблюдать отношения в чужой семье. Здесь, похоже, все очень любили друг друга. Молодые не отбывали номер, не исполняли повинность — они обожали деда с его чудовищным командирским характером.

В этот же день наняли ему сиделку, так что наша палата из четырехместной превратилась в пятиместную. На ночь сиделке притащили трехместную скамью из коридора, и она тоже спала в палате. А наутро дед ожил. Температура упала, он повеселел. Сиделка-киргизка Гуля вроде и по-русски говорила не очень, но как-то сумела его разговорить, так что он обрывочно, кряхтя и постанывая, рассказал — и ей, и нам, — что побывал на всех континентах кроме Австралии, видел цветущую мирную Сирию, Кубу, был в Ливии. «А сейчас вон что? Каддафи убили?» — возмущался он, как будто Каддафи убили в соседней палате.

Дед был тяжелым соседом. Всякий раз, когда он оглушительно громко матерился, мы с отцом Серафимом переглядывались и, как заговорщики, махали друг другу руками. Но в какой-то момент, когда не было рядом ни дочери, ни сиделки, а деду надо было помочь — что-то подать, что-то найти, я подошел к нему, и оказалось: кроме команд и требований он может и просить, и благодарить. И судя по всему, он вообще хороший дед своим внукам. И просто хороший дед. Хоть и очень грозный.

* * *

Сестрички палатные все были разные и все прекрасные. Улыбчивая, загадочная, нежная Таня. Совсем молоденькая, порывистая Аня с нежными руками. Взрослая, спокойная, флегматичная Роза, на которую — так совпало — выпали две моих операции: именно она с промежутком в полтора года вечером накануне делала мне самые неприятные процедуры уверенно, легко и меня успокаивая.

Самой громкой, яркой, шумной была Вика. Слышно ее было с другого конца коридора. За словом в карман не лезла. Беззлобно ругалась на больных. Но к нашей палате относилась положительно.

Воскресным днем позвала нас с отцом Серафимом на уколы. Батюшка в тот день был настроен потрепаться, по дороге рассказывал всякие истории. Ну, и когда Виктория вкатила нам по уколу, неожиданно спросил ее: «А скажите, как вы относитесь к двойникам?» Медсестра совершенно не удивилась и выдала монолог фантастический. Как жаль, что не было с собой диктофона! Суть ее рассказа заключалась в том, что как-то ей повстречался на жизненном пути красавец-летчик гражданской авиации, который, увидев ее впервые, заплакал. «Прямо вот, мужик такой сильный, мужественный, а слезы текут... Я ему говорю: «Почему вы плачете?» А он рассказывает, что у него погибла жена. И вот — верите? нет? — была эта жена похожа на меня, как две капли воды. То есть была моим двойником. Или я была ее двойником — черт его знает, как правильно...»

На слове «черт» отец Серафим вздрогнул.

Вечером Вика пришла в палату. Каждому полагались свои процедуры и свои уколы — кому в живот, кому в попу. Сделав все это, она остановилась со своей тележкой посреди палаты и громко спросила отца Серафима: «Извините, а вот спросить можно? Вы ведь в церкви работаете, правда?» Батюшка как-то даже растерялся. А Вика, ни на мгновение не останавливаясь, продолжила: «Вот скажите, что мне делать...»

И дальше она коротенько, минут за пятнадцать, в общем-то рассказала всю свою жизнь. Живет эта Вика в Калужской области, 200 километров от Москвы. На самом деле многие больничные сестрички так живут — кто под Тулой, кто в Рязани — и ездят в Москву на работу. И вот она купила в этом своем поселке квартиру. А до этого в квартире умерла женщина. Умирала тяжело, долго от онкологии. И теперь всё, что Вика делает в этой квартире, идет наперекосяк. Никак не закончится ремонт — все время случаются какие-то неприятности. Разливается краска, заболывают и исчезают рабочие.

«Я грешная, я очень грешная, — повторяла она через каждое слово. — Но я дочку свою больше всего на свете люблю. И бога люблю. И крест ношу», — и она показала всей палате крест на груди.

Разумеется, отец Серафим все ей по пунктам разъяснил. Какую молитву заказать священнику, чтобы освятить квартиру. Как вести себя в этой квартире. Этот его рассказ был такой... ну, как будто инструкция. Подробно, обстоятельно, по пунктам.

* * *

В соседней палате лежал мальчик лет пятнадцати-шестнадцати. Полный, совсем не суперменского вида. Ходил несколько дней с болтающимся на шлангах дренажом. И вот к нему приезжала девочка-ровесница. Сидела, несмотря на больничные правила, с утра до позднего вечера, тем более, были выходные, врачей в отделении немного. И они — целовались. То в коридоре, то — между обедом и ужином — в темной столовой. Я даже лиц их не помню, потому что они все время были вместе и все время — в поцелуе.

* * *

Соседи в палате хирургического отделения меняются с немыслимой скоростью. Можно, наверно, накрутить что-то про метафору жизни, но неохота. Просто за полдня, а то и за пару часов лица этих совершенно чужих людей успевают отложиться в памяти, а чей-то случайный взгляд не стирается и даже во сне снится. Как запомнилось лицо человека неопределенного возраста, который лежал напротив меня первые два часа, когда я только-только поступил в Первую хирургию. Сначала мы разговорились в коридоре с его женой. Общительная женщина рассказала, какой замечательный батюшка у нас лежит в палате. И что с другой стороны лежит хороший человек Игорь. А про мужа ничего не сказала. Муж — худой, как покойник, обескровленный, с отрешенным лицом — лежал под капельницей. Огромная банка с белой жидкостью — видимо, какой-то питательный раствор. Периодически он засыпал. Или просто отлетал в другую реальность.

Я не сразу понял: говорить он не может. Уже потом жена прочитала нам выписку с диагнозом: инфаркт мозга и что-то еще более страшное. Причем болезнь была стремительная. Всего за месяц до этого он чувствовал себя неважно, но был вполне себе человеком. Потом какая-то ураганная простуда, осложнения — и он перестал говорить. Но на лице у Жени (так его звали) отражалось все, что он чувствовал и о чем думал. Ни один актер в мире такого не сыграет. Жена разговаривала с ним очень спокойно, а он нервничал, пытался

выдрать вставленную капельницу, отдергивал руку, когда к нему прикасалась жена. Его в этот день выписывали, он очень хотел домой, и ему не терпелось скорее уйти из больницы. Но сказать это он не мог.

Потом принесли документы, жена с сыном долго поднимали и одевали его. И вдруг лицо у него как-то оттаяло, разгладилось. На прощание я махнул ему рукой, и он улыбнулся. И улыбка была какая-то виноватая, беззащитная. Вот время прошло, и лицо этого Жени я не очень помню, а улыбка перед глазами, словно и сейчас он мне улыбается.

